



Глава шестая РОМАНТИК ИЗ СО АН

«От Ермака — до Академгородка!» — говорил Савва Кожевников.

В моей памяти порою возникают различные эпизоды, так или иначе связанные с «академической сибириадой», с жизнью этого города Науки, деятельностью его жителей.

В частности, и с началом сотворения его.

Оно совпало с приближавшимся завершением Новосибирской ГЭС: создавать Академгородок решено было на берегу «новорожденного» (тогда еще — близкого к рождению) Обского моря.

В 1957 году зимой мне довелось встретить человека, который был одним из руководителей стройки в ее «стартовый» период: Вячеслава Никаноровича Климова, знакомого еще по театру оперы и балета. Он и в зимней одежде напоминал Николая Семеновича Тихонова.

Ехать туда из города надо было по Бердскому шоссе

(старый городок Бердск, давший название шоссе, оказался на дне моря — стал Китежем, как шутили тогда, и его тезку построили на новом, более высоком месте). Шоссе казалось невероятно тесным из-за сплошного потока машин.

«Контора» Климова помещалась тогда (штрих, характерный для многих строек в начальный период!) в крошечном домике, укрепленном на тракторных санях, а над домиком развевался на ветру небольшой красный флаг. Вероятно, для того, чтобы «штаб» был приметен издали: «Во-он, видите флаг? Там и есть!»

Это, пожалуй, позволяло бы на миг представить себе что-то вроде полярной станции, если бы путь к поляне не проходил мимо березовых лесков, которые в Сибири называют «кóлками», а сама поляна как бы врезалась в могучий сосновый бор.

— Еще ведь нет, собственно, генерального проекта Академгородка,— сказал Вячеслав Никанорович.— Даже сама строительная организация не до конца создана. Но главный «фундамент», представьте, уже подведен: финансовый! И решили не терять времени. Пока только один институт заложен — институт гидродинамики. Первенец. Ну и, конечно, несколько жилых домов. А сейчас — лишь временки шлакоблочные. Но, уверяю вас, это все-таки уже начало такого стремительного разворота событий, что через несколько лет... не через десять, учтите, а явно раньше, намного скорее, вот это место...— Он обвел рукой пространство перед нами, упирающееся в лесную стену,— станет знаменитым и притягательным для людей науки всего мира!..

Действительно, тогда еще только проектировались архитекторами самого Новосибирска, Москвы, Ленинграда здания многих институтов, с учетом специфики каждого, и основной жилфонд, и то, что принято называть «учреждениями культуры».

Впрочем, я убежден, что определение это обладает весьма ограничительной условностью, привычной и не замечаемой нами путаницей понятий: в конце концов, разве сами научные институты не являются... учреждениями именно *культуры*?

В одной из упомянутых Климовым «временок» — вначале деревянном, а попозже в шлакоблочном доме — поселился академик Михаил Алексеевич Лаврентьев.

Этот уже тогда немолодой человек, заслуги которого перед советской и мировой наукой переоценить трудно,

являл собой полную противоположность типовому образу кабинетного затворника, «жреца знаний».

Михаил Алексеевич был активнейшим инициатором и неутомимым организатором всего этого поистине грандиозного начинания.

И вовсе не из пристрастия позировать в экзотической одежде перед настырными (как любят говорить в Сибири) корреспондентами прессы, радио, телевидения, кинодокументалистики он на многих газетных и журнальных снимках, экранных кадрах той поры запечатлен иногда в кирзовых, а иногда и в резиновых («болотных») сапогах. Просто без них невозможно было обойтись первой осенью и первой весной возле его жилья, а тем более на строительной площадке — в самом центре будущего города, центре, который назовут потом «Золотой долиной».

Примерно года за полтора до этого Михаил Алексеевич в соавторстве с академиком С. А. Христиановичем (ленинградцем, получившим одновременно два докторских диплома!) и С. А. Лебедевым выступил в «Правде» со статьей, в которой страстно утверждалась необходимость переезда многих научных институтов из Ленинграда, Москвы и других крупных городов европейской части страны поближе к огромнейшим потенциальным запасам разных видов энергии — в Сибирь и создания там отделения Академии. Совершенно ясно, что существующих на востоке страны филиалов Академии уже недостаточно, — заявляли они, — так быстро развивается индустриализация Сибири, столь актуально всемерное расширение масштабов разведывания и освоения ее природных богатств, столь обостренное внимание привлекается к перспективам «прирастания могущества Российского Сибирью» — по ломоносовскому выражению.

Одним из энтузиастов и едва ли не главным соратником М. А. Лаврентьева в начальные десятилетия «академической сибиряды» был представитель самого молодого поколения крупных ученых — Сергей Львович Соболев. Действительным членом Академии наук математик Соболев был избран едва ему исполнилось тридцать лет. Но когда Сибирское отделение стало функционировать, оказалось, что в раннем овладении высотами науки и получении высших званий в этой сфере деятельности «его пример — другим наука»!

Статья сыграла роль мощного стимула для цепной реакции последовавших за ней крупнейших мероприятий по осуществлению идеи. Не буду все перечислять поэтапно.

Упомяну лишь некоторые из этих весьма показательных фактов.

В самом деле: в феврале пятьдесят седьмого года эта идея была документально зафиксирована на годичном собрании Академии, в мае сформирован ее Президиумом подготовительный Комитет по организации Сиботделения, а Совет Министров почти тогда же принял соответствующее постановление. Не прошло и недели после этого — в Новосибирск прибыла комиссия, решавшая вопрос, где быть Академгородку. А весной будущего года уже состоялись выборы академиков.

И всего через полтора месяца после выборов они собрались на первую сессию Сибирского отделения Академии наук СССР. На ее открытие были приглашены писатели. Помню, как еще непривычно тогда звучало: «СО АН».

Естественно, что председателем Президиума был избран Михаил Алексеевич Лаврентьев.

Кстати сказать, с писателями встречался он и раньше. Призывал смелее устремлять воображение в будущее науки. Она подошла уже вплотную к решению таких проблем, которые еще вчера казались фантастикой.

Это — овладение термоядерной энергией и создание вещества с принципиально новыми свойствами; полимеры и создание новых молекул; проникновение в космос и в глубинные недра Земли (причем второе, сколь ни странно, сложнее первого намного); создание живого вещества и так называемая генная инженерия.

— Для решения подобных фундаментальных теоретических задач всесоюзного и мирового масштаба, но и задач практических, связанных со взлетом индустриализации Сибири и освоением ее природных богатств, собственно, и организовано впервые в истории мировой науки наше Отделение, — говорил М. А. Лаврентьев. — Ради этого и строится Академгородок — тоже в своем роде уникальный центр. А пока...

А пока становилось все теснее в доме № 20 по Советской улице, той самой улице и даже на той же ее стороне, где много лет ютились новосибирское отделение Союза писателей и наша «сибогневская» редакция (в прежнем здании «Советской Сибири» — в доме № 6).

Этажи «двадцатого дома», принадлежавшего до войны тресту «Кузбассуголь», как соты медом, были заполнены до отказа временно разместившимися там институтами и лабораториями. И этот дом, как и «шестой», позже стал мне в определенном смысле своим: там потом разместилось

Сибирское отделение академического издательства «Наука», в котором много лет работала редактором моя жена. Немного разгрузиться здание это стало в пятьдесят девятом году, когда переехавший в «родной дом» Институт гидродинамики самоотверженно (хотя, признаться, и не без «волевой подсказки» Лаврентьева) потеснил и пустил к себе несколько других институтов. Так что на первых порах именно там, в «многоинститутской коммуналке», выдвигались или уже выверялись новые дерзкие гипотезы и стали завязываться все более тесные контакты научных учреждений с действующими заводами.

А план строительства, об отсутствии которого говорил мне Климов, появился в чертежах лишь в середине пятидесят восьмого года.

Помнится, как буквально все новосибирцы (в том числе и не имеющие ни малейшего отношения к науке, однако прежде всего, конечно, все-таки именно ученые — ленинградцы, москвичи, киевляне, те, для кого там предстояло соорудить и здания научных учреждений, и, что не менее важно, жилье) обрадованно восприняли одну существенную деталь проекта, немедленно ставшую общеизвестной: он максимально сохранял лесной массив! Не только рядом с этим необычным городом, но обязательно и внутри его. Не всегда, чего греха таить, это осуществляется на практике в самом процессе реализации задуманного и обусловленного.

Но в данном случае, как показало ближайшее будущее, деталь сия оказалась выполненной как «святая заповедь»: одна сторона проспектов — разноцветные благоустроенные жилые дома и, чуть глубже, не менее благоустроенные коттеджи академиков с гаражами поблизости, а с другой стороны по бетонированной мостовой пленительно грациозные белки чудом ухитряются проскакивать (иногда — «кенгуриными» прыжками) перед мчащимися машинами. Академгороджане уверяли, что у каждой белки или у нескольких вместе были даже свои стабильные маршруты, во всяком случае — конкретные, твердо усвоенные «адреса»: к балкону такого-то дома, к веранде такого-то коттеджа, а оттуда — обратно к собственному жилью в лесу, через дорогу.

Но об этом — чуть позже. До того город предоставил ученым квартиры, а научной молодежи — общежития, хотя часть ее поселилась во временках будущего городка.

Неверным было бы утверждать, что все шло гладко. Строительство задерживалось, то, что для него необходи-

мо, поступало с перебоями, иногда по самым неожиданным причинам.

Помню, как во время встречи с писателями у нас в отделении Союза на Потанинской Михаил Алексеевич, приехав вместе с С. А. Христиановичем и А. А. Трофимуким, после интереснейших сообщений рассказал с сердитым юмором о случае печально-анекдотическом и, честное слово, не характерном для сибиряков, влюбленных в свой могучий край! Руководитель одной из местных строительных организаций, ухитрившись каким-то образом «экспроприировать» (так и выразился Лаврентьев) материалы, адресованные Академгородку, спокойно признался в этом и добавил:

— Вот что... Не знаю уж, за какие такие провинности тебя сюда направили. Но если дело твое стоящее, значит, ты срочно получишь взамен такие же материалы. Да еще мои извинения в придачу. Ну, а если нет, то нас и ругать не за что. У нас объект — будь здоров какой важный! Понял?

Если хохот бывает возмущенным, то в зале (который мы в том здании на углу тихой Потанинской улицы и шумного Красного проспекта «кооперативно» делили с Союзом архитекторов) раздалось нечто подобное. Отличавшийся мгновенной реакцией Савва Кожевников «прорезал» этот хохот репликой:

— По-моему, за такие «провинности», которые совершил этот милый умник в беседе с вами, Михаил Алексеевич, нужно высылать из Сибири! Кстати, придет время, верьте мне, когда высылка из Сибири будет очень огорчительной мерой наказания! А направление на работу или учебу сюда — доказательством высокого доверия и щедрого поощрения. Вот посмотрите!

— Хорошо сказано! — рассмеялся Лаврентьев. — По сути дела, на то мы и работаем. Думаю, что этот парадоксальный прогноз не столь уж и фантастичен. — Он чуть задумался. — Не столь, не столь... И понимаете, Савва Елизарович, это как раз та формулировка, которой — вот досада! — не хватало мне когда-то в неприятном споре с одним нашим академическим высокопоставленным администратором. Тот, представьте, железно не верил в мою, как он изволил выразиться, «пустую сибирскую затею» и удивленно спрашивал: «А кто из академиков решится туда ехать?! Зачем же на ветер деньги выкидывать? Утопия!»

— М-да, трогательное единение двух разномасштабных одноптипных деятелей, — покачал головой Савва.

— Воображаю, как был бы тот огорошен! — воскликнул сидевший в президиуме Христианович. — Эх, где вы раньше-то были? — улыбнулся он Кожевникову.

Новосибирскому «аналогу» москвича не поздоровилось вскоре на бюро обкома.

Надо сказать, что «дело», которым занимался Лаврентьев, было признано таким «стоящим», что сочли нужным пригласить впоследствии для осуществления генерального проекта того человека, который возглавлял когда-то строительство Комсомольска-на-Амуре, — Г. Д. Чехидзе (прототип героя ажаевского романа «Далеко от Москвы» Беридзе).

Об этом и многих других фактах жизни Академгородка, о важных и просто любопытных деталях доводилось узнавать от одного чудесного человека, который не принадлежал к числу новоселов, а был давним, если не исконным сибиряком, переехавшим в начале тридцатых годов в Новосибирск из Томска. До создания Отделения он работал в филиале Академии.

Геннадий Львович Поспелов, — его хорошо помнят многие новосибирцы, томичи, тюменцы, кемеровчане, вообще — сибиряки, включая и камчадалов. Общительный, веселый, с приветливой улыбкой, он привлекал к себе с первого взгляда.

Вряд ли можно было назвать фигуру Поспелова спортивной и заподозрить у него «железную мускулатуру», но ощущение неумной энергии, напористости, волевой устремленности, надежной крепости не покидало собеседников Геннадия Львовича.

Сферой его деятельности была геология. Практическая и проблемно-теоретическая.

Он, помимо всего прочего, много лет имел непосредственное отношение к «Сибирским огням» как член редколлегии. И хотя бы поэтому мы имели возможность общаться довольно часто и выслушивать его, обычно энтузиастические, рассказы... если, конечно, он не был в одной из своих экспедиций.

В начальные годы «сотворения академгородковского мира» Поспелов рассказывал о том, как живут, постепенно адаптируясь к отнюдь не комфортным тогда бытовым условиям, приехавшие туда раньше своих коллег молодые ученые.

Со смехом и явным удовольствием он цитировал, а то и напевал местный «фольклор», мгновенно приобретающий там популярность.

В песенках и «поэмах» варьировалась одна ведущая тема:

Столицы опустели ныне.
Покинув берега Невы
И академии Москвы,
Цвет общества живет в долине,
Прославленной долине той,
Что называют Золотой...

Потом это название получили и улица, и одна из комфортабельных гостиниц, в которой, между прочим, любили, как в своеобразном Доме творчества, работать писатели, особенно, пожалуй, тогдашний новосибирец Сергей Залыгин.

Часто звучала тогда на застраиваемых полянах и задорная песенка:

Прощай, Москва, Сибирь кругом!
Живем семьей единою.
Наш новый дом теперь зовем
Мы Золотой долиною.
Вокруг шумит почти тайга.
Течет Зырянка-реченька.
Кому наука дорога —
В столицах делать нечего!

Позже в «Сибирских огнях» были напечатаны очень интересные дневниковые записи представительницы младшего по возрасту поколения ученых, но одной из первопоселенок Академгородка — Натальи Притвиц, где среди многих других живых деталей приведены и эти «мадригалы».

— Признайся, Геннадий Львович, — спросил я, зная, что он в близкой дружбе с рифмой, — а не ты ли являешься акыном или ашугом этого «фольклора»? В смысле — не ты ли и подкинул нашим милым «варягам» эти занятные штуковины?

— Клянусь! — протестующе покачав головой, он поднял два пальца. — Скорее всего, это коллективное творчество молодого поколения. Молодцы! В сих незатейливых виршах точно передано нечто дьявольски важное: *настроение*, царящее там. Уверенность. Решимость. И — юмор, юмор! И еще раз — он же! Причем, понимаешь, ведь настроение это присуще как раз не только молодежи, но

и почтенным мужам науки. Начиная с МА! (Так он порою называл Михаила Алексеевича! — Б. Р.) — О чем-то подумав, он расхохотался. — Грешным делом, я было заподозрил, не он ли и сыграл здесь роль музы-вдохновительницы? Во всяком случае, МА весьма одобряет шутливую задиристость тона: «Кому наука дорога — в столице делать нечего!» Сие мне доподлинно известно.

Вспомнились эти слова Пospelова, когда я читал вышедшую в 1980 году книгу М. А. Лаврентьева «...Прирастать будет Сибирью» (в литературной записи Н. А. Приривиц), где стихи эти в чуть более развернутом виде процитированы автором с явным удовольствием.

Года через три-четыре после «первых дней творенья» уже предстал взорам всех появившихся там, хотя и продолжал строиться дальше, этот необычный разноцветный «город внутри леса» и «с лесом внутри себя». Город с институтами, степень научно-технической оснащенности которых по многим параметрам превосходила мировые стандарты, как об этом свидетельствовали ученые всех социалистических стран, а также физики, химики, биологи, математики, геологи из США, Англии, Франции, ФРГ, Японии и т. д.

— К тому же, город-то наш «приморский»! — любил повторять Пospelов, имея в виду, что рукотворное Обское море — с невидимым противоположным берегом, с множеством белокрылых яхт в летнее время — раскинулось рукой подать от проспекта, который с таким же правом назван Морским, как назван Невским главный проспект Ленинграда!

Продолжением Морского служит короткая пологая просека, и вот он — золотой академгородковский пляж, напоминающий коктебельский тех времен, когда тот еще не был загублен!

Однажды, еще в первые годы строительства, вернувшись из отпуска, Геннадий Львович рассказывал, смеясь и поправляя очки: — В который раз убедился, что жителям европейской части страны, московским или ленинградским, так сказать, аборигенам, ну прямо-таки невозможно представить себе, что при долгих и порою сверхсуровых зимах юг Западной Сибири в летние месяцы получает тепла на равных с Киевом. Или что по количеству часов солнечного сияния Новосибирск сопоставим с... Краснодаром. И что при всем том «прозрачный сумрак» почти белых ночей заставляет вспоминать о Ленинграде. Такой вот климатический и географический конгломерат!.. Услышав от меня

это, один шибко научный остряк и скептик изрек, что Пospelов, мол, явно занимается «сибирской пропагандой» с помощью фантастики.

Однако Геннадий Львович (вообще-то действительно являвшийся страстным пропагандистом Сибири) ничего не преувеличивал. Данные такого рода публиковались, а я по себе знаю об этом. Был случай, когда в предзакатном раскаленном пекле июльского вечера мы с женой буквально еле дотащились от пристани до недалеко расположенного нашего дома, причем вынуждены были по пути немного отсидеться в тени невысоких краснолистных кленов — есть там деревья такой породы.

Ну, конечно же, бывало и совсем по-другому. Иным летом пляж академгородковский — неуютный, мокрый, холодный, а «море» — свинцовое, отпугивающее. А вот поди ж ты: на память теперь приходят, помимо того жгуче знойного вечера, пленительные, ласково теплые, голубые дни другой поры года!..

В самом конце сентября, возвратившись накануне в Новосибирск после длительного пребывания в Латвии, Ленинграде и Москве, мы с женой поехали в битком набитой воскресной электричке на Обское море.

Умеющее штормить по-настоящему (что почему-то особенно поражало и словно неоспоримо подтверждало его морской статус), оно было ярко-синим от неба, осторожно и зазывно, совсем чуть-чуть выплескивалось на кромку берега, искушая любителей купания. Оно будто видело, что на золотистом горячем песке было тесно, как на пляжах черноморских.

А народу все прибывало: просекой, спускаясь от Морского проспекта, шли и шли академгороджане, в шортах, в купальных костюмах.

Загорали, читали, играли в волейбол, в шахматы, купались, спорили, вычерчивая на песке уравнения и формулы.

Или молча любовались голубым простором, заштрихованным медленно передвигающимися белыми парусами.

Благословенный денек!

Казалось, что не октябрь подошел вплотную, а, как сказал поэт: «В июль катилось лето».

А ночью выпал снег.

Он был ранним, не «стабильным», и как-то незаметно потом исчез, хотя вроде бы и не таял.

Но знобящая пасмурь, пронизанная далеким дыханием Ледовитого океана, принимающего в себя Обь (через свое «окраинное» Карское море), холодная эта пасмурь сомкнулась потом с зимой.

Поспелова в тот дивный день мы не видели. Признаюсь, — не пришел тогда на пляже в голову «проклятый вопрос»: оправдывает ли вся эта красота (вместе со всеми киловаттами энергии!) вред, нанесенный Оби и затопленным километрам земли?..

При случайных ли встречах или бывая в редакции, Геннадий Львович увлеченно и увлекающе дополнял интересными сведениями то, что мы сами видели во время экскурсий (скажем, в университет, в Институт горного дела, в вычислительный центр с первыми, еще очень громоздкими ЭВМ и т. д.), или то, что слышали от М. А. Лаврентьева, С. А. Христиановича, А. А. Трофимука или Г. И. Марчука, ставшего ныне президентом Академии наук СССР.

Поспелов и рассказывал о новостях городка, о его мировом резонансе, и выступал со статьями в родных ему «Сибирских огнях» и в московских журналах, и организовывал иногда выступления ученых в Союзе писателей.

Правда, позже появился у нас и еще один «связист» — Давид Константиновский, приехавший в Сибирь с Урала, работавший в Институте ядерной физики, потом ставший... членом Союза писателей и кандидатом философских наук. Будучи еще «новожителем» Академгородка, он приносил мне в «Сибирские огни» первые свои рассказы, ныне Константиновский — интересный прозаик.

Насколько помню, они вместе уговорили выступить у нас профессора Юрия Борисовича Румера, занимавшегося когда-то одновременно с крупными американскими и другими западными физиками (такими, как Планк, Лоренц) в Геттингенском университете и несколько раз посещавшего семинар Эйнштейна. При нем там юный Ландау рискнул не согласиться с... самим руководителем, вычерчивая на доске свои решения сложнейших уравнений, которые вызвали удивленное восклицание Эйнштейна.

Не раз Румера приглашали в Москву, когда туда приезжали иностранные ученые такого масштаба, — приглашали, учитывая его давние контакты с ними.

Высокий, тонкий, с орлиным профилем и чуть ироничным взглядом темных глаз, профессор рассказывал нам о деятельности Института радиотехники и электроники,

в котором работал, о головокружительных перспективах развития физики к концу века. А потом по просьбе организаторов лекции, но как бы мимоходом, рассказал и об одной из своих книг, в которой излагалась гипотеза «четвертого и пятого измерений». Мысль старая, хотя пока не вышедшая из плена недоказуемости, но он повернул ее как-то по-своему.

Поспелов слушал наши недоуменные вопросы Румеру, весело и необидно посмеивался:

— Да вы что, товарищи?! Профессор все излагает, стараясь быть максимально популярным. Как любят у нас говорить, «где-то» на уровне «Техники молодежи». Верно, Юрий Борисович?

— Ну зачем уж так-то? — улыбнулся Румер. — Надо принимать в расчет, что хотя ученые многое предвидят, все-таки порою и нас самих озадачивают результаты наших исследований или просто сверкнувших внезапно предположений.

— Конечно, конечно, — согласился тут же Поспелов. — Скажу даже, что если бы не сама возможность таких «озадачиваний», вызывающих новые размышления и новые поиски, вместо неременного «что и требовалось доказать», при всем том, что именно последнее и является конечной целью, работать в науке было бы явно менее интересно!..

— «Что и требовалось доказать»... на этой вот встрече с писателями, — шутливо заключил Ю. Б. Румер.

Однако естественно, что чаще и с особенным энтузиазмом Геннадий Львович говорил о перспективах исследования и освоения недр Земли. Эта тема заставляла его зажигаться (хотя не всегда он бывал последовательным).

Чрезвычайно его радовало, что в системе отделения есть и Институт горного дела, и Институт геохимии, и Институт геологии и геофизики. Причем один из них решает важные проблемы совместно с Институтом гидродинамики и Институтом теоретической и прикладной механики, а в тесном содружестве с другим — Институтом автоматики и электрометрии создает принципиально новые приборы и машины. И это должно помочь в разведке полезных ископаемых, прежде всего в Сибири, но и где угодно в ином месте.

И хотя вообще-то о таком мы слышали и от руководителей отделения, в устах Поспелова это звучало как-то особенно горячо.

Кроме того, он умел фиксировать в своем воображении

и такие детали (пусть — несущественные), которых другие просто не замечали, но отношение к таким деталям характеризовало и его самого и обостренно заинтересованное отношение его к тому, чем занимались ученые «чудо-городка».

— Даже само официальное наименование нашего отделения звучит в аббревиатуре удивительно красиво! — восклицал он. — Не обращал внимания? А ты вслушайся, вслушайся: «СОАН... СОАН...» Парадокс, да? Громадный комплекс математических, физических, геологических, химических, механических институтов. Мир строгих формул, уравнений, незыблемых... впрочем, иногда все-таки неожиданно зыблущихся законов природы, поисков на основе расчетов и гипотез. Средоточие Большой На-у-ки! А ведь «СОАН» звучит как... я не знаю, как пленительно-романтическое имя какой-нибудь юной, необычной, непохожей на других девушки. Героини рассказа или повести... догадываешься — чьей?

— Да-а... Не приходило в голову. Вроде... Ассоль, что ли?» «Соан»... А ведь в самом деле...

— В том-то и штука! Убежден: послышалось бы когда-то такое сочетание букв Александру Грину, и мы с волнением читали бы о таинственной, странно влекущей, совершающей невероятные поступки «Соан». И заметь еще: этот эффект благозвучия возник как раз благодаря присоединению к привычному обозначению: «АН СССР» начальных букв именно *нашего* Отделения! Случайность? Понимаю. Но — интересная же! Очень интересная...

Еще бы!.. Ведь это надо — так услышать!

Но главное, конечно же, в том, что у человека, равнодушного к искусству, такой ассоциации вообще не могло бы возникнуть, хотя проявилось в ней неравнодушие именно к... науке! Вот в чем психологический «фокус».

Когда я сказал ему об этом, Пospelов рассмеялся:

— Вон ты куда! Хочешь сделать из меня... эту, как ее?.. гармонически развитую личность? — Он подчеркнуто горделиво вскинул голову. — Брось ты. Самый я «обнакоженный»...

— Не скромничай. Но воображаю, с каким сарказмом восприняли бы такое сопоставление ваши неистовые испровергатели художественного творчества!

— А ну их к богу! И ведь умные ребята. Несомненно умные! А вот... — Пospelов сердито усмехнулся. — Постой-постой, никак не вспомню, чьи это остроумные иронические строчки:

Конечно, ум дает права на глупость,
Но лучше сим не злоупотреблять!

Да не ты ли сам давно как-то мне читал их? Определенно — ты.

Я ответил, что «был грех такой», и напомнил, что они из стихотворения Владимира Соловьева — философа и поэта, предтечи символизма, а Брюсов не однажды использовал их в полемических статьях в своем журнале «Весы» — там я их и «поймал».

— Любопытное совпадение, — добавил я. — Тебе пришло в голову это, а Савва Кожевников на днях сказал, что к вашим яростным изничтожителям искусства применимо, в соответствующем переосмыслении конечно, выражение: «горе от ума»!

Но совпадение совпадением, а по сути все значительно сложнее, — с этим согласились мы оба.

— Эх, жалко: не смогу быть на тюзовском побоище! — с досадой прищелкнул пальцами Геннадий Львович. — Уезжаю недели на три...

Так зашел у нас с ним разговор о том, что на первый взгляд явно противоречило здравому смыслу.

В самом деле, ведь эстетическая жизнь сибирского научного центра была с момента его рождения интенсивной. Во всяком случае, она непрерывно обогащалась, становясь все более активной и многообразной. Правда, художественные запросы многих ученых не могли полностью удовлетворяться «на месте»: случалось, что, несмотря на позднее возвращение домой, некоторые академгороджане ездили в театр оперы и балета, на премьеры драматических театров или на особенно заманчивые для ценителей симфонической и камерной музыки концерты филармонии, а позже — на органные концерты в консерваторию. Через несколько лет, однако, «гора пошла к Магомету», как пошутил академик Христианович, — прочной традицией стали выступления новосибирских артистов и наиболее интересных гастролеров в Академгородке.

— МА и другие организаторы отделения, — сказал тогда, между прочим, Пospelов, — считали это запрограммированным, само собою разумеющимся. А эти...

...Пройдут годы, и МА — Михаил Алексеевич Лаврентьев — сам выскажется на эту тему в книге «...Прирастать будет Сибирью»:

«В Академгородке в первые же годы, когда еще не все институты имели свои здания, были построены сначала кинотеатр, а затем и Дом ученых...

Помню, как пришлось дважды обращаться к министру культуры, чтобы получить рояль экстракласса (иначе выдающиеся пианисты отказывались выступать в Академгородке).

В другой раз Сибирское отделение оплатило специальный рейс самолета, чтобы привезти из Риги выставку картин Николая Рериха. Вроде это и не касалось науки, но зато жители Академгородка и Новосибирска смогли свободно увидеть ту самую выставку, на которую москвичи и рижане часами стояли в очереди. (Обратите внимание: в данном случае огромный город полностью зависел от своего маленького по пространственным масштабам и населению «спутника» и только благодаря ему получил возможность познакомиться с интереснейшей выставкой! — Б. Р.)

Тон культурной жизни Академгородка с первых лет задали ученые старшего поколения.

На домашних вечерах у И. Н. Векуа (первого ректора университета) часто пела солистка оперного театра Л. Мясникова. В доме А. А. Ляпунова играла пианистка В. Лотар-Шевченко. Гостем П. Я. Кочиной был поэт Андрей Вознесенский. По приглашению Л. В. Канторовича в городок приезжал Аркадий Райкин. Позже центр тяжести культурной жизни переместился в Дом культуры «Академия» и в молодежные клубы».

Уточню, что художественные выставки, о которых мечтают любители живописи Ленинграда и Москвы, Киева и Таллина, экспонируются в Академгородке и после рериховской (экспонировались и до нее) не так уж редко. Причем характерно, что творчество такого, например, весьма своеобразного и спорного художника, как Филонов, не успевшее в свое время приобрести достаточной известности (я помню лишь странноватые, пожалуй чем-то и отпугивающие при первом знакомстве его картины и панно в зале и в столовой Ленинградского Дома печати в конце двадцатых годов), позже и совсем изъятые из общения со зрителем, обрело вторую жизнь после посмертной выставки в Академгородке.

Увидели его жители и картины Фалька.

Итак, свидетельство организатора и многолетнего руководителя СО АН. Может ли найтись свидетельство более авторитетное и неоспоримое? И тем не менее...

Тем не менее был период, когда наряду с фактами такого рода там происходило и нечто диаметрально противоположное. Происходило чрезвычайно активно, бурлило, переливалось через край, распространяясь окрест и далее: новорожденный Академгородок в конце 50-х — начале 60-х годов был одним из главных бастионов исключительно темпераментной и громогласной дискуссии о роли и судьбах художественного творчества. Той самой, которая с легкой руки Бориса Слуцкого окрещена дискуссией «физиков и лириков»! Многие читатели старшего и среднего поколения помнят о ней. Но, положив руку на сердце, скажите: многие ли знают, что она — далеко не первая?.. И о том, что давший ей название советский поэт тоже был отнюдь не первым среди своих собратьев: более чем за сотню лет до него те же мысли сформулировал... Впрочем, об этом — речь впереди.

Когда я поделился с Геннадием Львовичем планом выступления в устном споре с «физиками», сказав, что, между прочим, собираюсь нарочито заостренно выдвинуть тезис о явном «приоритете» поэтической интуиции в освоении космоса, он задумчиво произнес:

— Ну что ж, как полемический прием, возможно, и подойдет. Только... знаешь, какие они у нас зубастые? Больше жми на то, что в самой отрицании они лишь аутсайдеры, хотя пренаивно мнят себя лидерами, — вот это ты правильно наметил. А насчет стихов... — Он внезапно ожил. — Слушай, а про Уитмена не забыл? Кого-кого, а его — обязательно! Особенно — «Песню о себе»! Наизусть что-нибудь помнишь?

Я виновато развел руками.

— Ну, брат, так не пойдете. Поразительно-то что? Написано в тысяча восемьсот пятьдесят пятом году, задолго до того, как Эйнштейн, великий ниспровергатель наших представлений о пространстве и времени, о бесконечности Вселенной, появился на свет. Я недавно случайно обратил на это внимание. А речь идет в этой поэме, помимо полета между звезд, вот о чем... — Геннадий Львович слегка поджал нижнюю губу, тронул очки, задев прядку волос на лбу, чуть помолчал... — Вот:

Сегодня перед рассветом я взошел на вершину горы и увидел усыпанное звездами небо.

И спросил свою душу:

«Когда мы овладеем всеми этими шарами Вселенной,

И всеми их уладами, и всеми их знаниями,—
будет ли с нас довольно?»
И моя душа сказала: «Нет, этого для нас мало.
Мы пойдем мимо и дальше!»

Понимаешь?! — И, подчеркивая интонационно каждое слово, он воскликнул: — *Дальше всей Вселенной!*

— Действительно! Можно подумать, что «лирик» так салютовал великому физику за четверть века до его рождения, верно?

— И при этом предсказывал какие-то его будущие невероятные открытия! И не только его, кстати. В общем-то тут я не в свою область залезаю,— улыбнулся Поспелов.— Из-под земли аж на небо. И куда-то еще за него!

Он стал говорить о том, что ведь и эйнштейновские рассуждения и выводы — не последнее слово в космологии, что свою сенсационную модель Вселенной Эйнштейн предложил еще до открытия или догадок о так называемой «нестационарности» мироздания. Недаром в современной науке, помимо известного понаслышке даже неспециалистам определения «Вселенная Эйнштейна», появились определения «Вселенная Наана», «Вселенная Фридмана» и еще другие. Выдвинуты гипотезы о существовании многих Вселенных, словно обхватывающих одна другую, как... «матрешки»! Только... невынимающиеся.

— Так вот,— почти торжественно добавил Геннадий Львович,— в другом стихотворении Уитмена есть строки как будто и об этом:

Я взираю на яркие звезды и думаю о тайном ключе
Всех Вселенных и будущего...

(Любопытно, что позже говорил мне об Уитмене в таком же плане и академик Окладников — знаменитый археолог, приехавший в Сибирь из Ленинграда — и тоже ставший членом редколлегии «Сибирских огней», представляя в другом ее составе Сибирское отделение Академии.)

Я поблагодарил Поспелова за его советы.

...Жарким летним днем в зале Новосибирского ТЮЗа проходил еще более жаркий, чем сам день, диспут на тему: «Нужно ли в наши дни искусство?» Собрались артисты, писатели, музыканты, художники, преподаватели литера-

туры и, конечно, те, кто вынудил так поставить вопрос, — гости из Академгородка.

Свою позицию высказывали молодые ученые с непре-рекаемой категоричностью и не без победоносной про-нии.

— Вы мыслите вчерашними категориями. Вам пока трудно понять и признать, что сам вывод о неустранимой самоликвидации искусства мог прийти в голову только людям второй половины двадцатого века, когда точные науки и все отрасли инженерии приобрели невиданное могущество. Ученые, сформулировавшие этот закон сегодняшней и завтрашней жизни, являются первооткрывателями, Колумбами в сфере социальной психологии, уловившими еще небывалые в истории планеты тенденции дальнейшего развития человечества. Такова уж специфика нашего атомно-лазерно-кибернетического века. Точнее, второй его половины. И никуда вы от этого не уйдете. Искусство обречено! Да и некогда им интересоваться современному человеку, такой поток информации на него обрушивается.

Конечно, люди, которым «некогда» интересоваться искусством, были во все времена. Но ведь под подобную духовную ограниченность подводится нечто вроде теоретической базы, призванной полностью оправдать эту эстетическую глухоту объективными условиями. Проводится мысль, будто это является нормой сегодня, а завтра тем более, что это историческая неизбежность.

Самое забавное состоит в том, что энтузиасты такой точки зрения были всерьез убеждены в новизне как постановки вопроса, так и своей аргументации ответа, убеждены, что это, мол, «специфика эпохи», яркий опознавательный знак НТР.

Но, прошу вас, вдумайтесь для начала хотя бы в это свидетельство: «Есть люди... которые от души убеждены, что в наш век, как *положительный и индустриальный*, поэзия есть пустая мечта... Образцовое невежество! Нелепость первой величины! И что за жалкая, что за устарелая мысль о *положительности и индустриальности нашего века, будто бы враждебных искусству?*» (В. Г. Белинский, 1840 год).

Обратите внимание на любопытное обстоятельство: слова «положительный» и «индустриальный» подчеркнуты автором. А ведь известно, что положительными знаниями

назывались тогда те науки, которые позже стали именоваться точными: математика, физика, химия, астрономия, естествознание. Сюда относится и вся сумма технического опыта человечества. В другой статье Белинский язвительно иронизировал над Николаем Полевым, утверждавшим: «Наш положительный и индустриальный век — антипозитичен...» Следовательно, победное шествие точных наук, техники, индустрии считалось характерным и, так сказать, «окрашивающим время» и тогда, в первой половине XIX века! Но ведь наше с вами время, помимо всего прочего, вызывает у нас ощущение чудодейственной, незнакомой человеку прошлого *быстроты* технических свершений и радикальных изменений жизненных условий! «Чудное, право, это время, в которое живем мы. Наши деды и прадеды за 100 лет не переживали того, что переживаем теперь мы за 10 лет... Наука и промышленность дружно и быстро идут... вперед, совершая чудеса на пути своем, все обновляя и преображая вокруг себя». Действительно так!

Но это опять... Белинский.

Конечно, уровень тогдашних научно-технических достижений может показаться кое-кому из нас до смешного низким. Подумаешь, паровоз пустили по рельсам, на воде паруса заменили паровым двигателем да на фабриках машины установили... Только и всего. А мы-то космос завоевываем, кибернетику в помощницы взяли, электронику, лазер «впрягли», все более их совершенствуем. Вот это действительно уровень!

Но давайте судить о достижениях науки и техники с точки зрения современников — через век о нас могут сказать «Подумаешь...»

Позволительно ли забывать, что использование возможностей пара для железнодорожного сообщения и передвижения по рекам, морям, океанам, а также для фабричного производства не случайно вошло в историю под названием «индустриального переворота», «промышленной революции»!

И явились люди, которым стало казаться, что перед лицом победного продвижения положительных знаний искусство становится чем-то второстепенным, несерьезным, что ему вообще не найдется места.

Век шествует путем своим железным...

Такой емкой, выразительной формулировкой начал стихотворение Евгений Баратынский и назвал его: «Последний поэт»!

Исчезнули при свете просвещения
Поэзии ребяческие сны.
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

Кажется, будто стихотворение Баратынского написано в тот же самый день, когда появились строки Бориса Слуцкого:

Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.

Но разве не «мировой закон» имел в виду Баратынский, утверждая, что «промышленным заботам» преданы не одиночки, не группы людей — «поколенья»?!

Баратынский был даже категоричнее и шел дальше Слуцкого в оценке судьбы «лириков»! Они, по его мнению, окажутся не просто «в загоне» под напором побед науки и техники, — им придется похоронить на дне морском «свои мечты, свой бесполезный дар». И это приводило его в отчаяние.

Да что там — сам Пушкин, только без пессимизма Баратынского и других, думавших так же, напротив, непоколебимо убежденный в бессмертной мощи художественного творчества, — сам Пушкин (как до него — Гёте) все-таки задумывался о проблеме соотношения науки, делающей великие открытия, добывающей все новых практических успехов, и поэзии (в которой вроде нет прогресса), неизменно сохраняющей свое огромное значение!..

Любопытно, что Джавахарлал Неру, работая в начале 30-х годов над своим исследованием «Взгляд на всемирную историю», тоже констатировал тот факт, что в девятнадцатом веке возникало мнение о поэтах как о «довольно бесполезных существах», поскольку ученые воспринимались как «волшебники современности». Более того, он утверждал, что поток сенсационных открытий и изобретений породил тогда в среде ученых то, что можно назвать амбициозностью: «...люди науки в девятнадцатом веке стали очень самоуверенными и самодовольными и придерживались излишне определенных мнений».

Однако если не знать, скажем, о дискуссиях времени Белинского нашим «физикам-агрессорам» было в какой-то мере извинительно, то трудней понять, почему забыли они и не столь далекое прошлое. Ведь тезис о ничтожности

искусства, старого во всяком случае, в сравнении с наукой и техникой высказывался в начале 20-х годов столь заостренно, что этому наверняка могут позавидовать самые бескомпромиссные апологеты сегодняшнего «торжествующего техницизма». Чего стоили, например, тогдашние залихватские лозунги: «Жечь Рафаэля!», «Расстреливать Расстрелли!»... Перечитывая прессу и книги тех лет, нередко наталкиваешься на нечто совершенно неожиданное.

Илья Эренбург, так страстно и доказательно выступивший в защиту «лириков», утверждал в 1922 году, что эпоха индустриализма создала свой стиль, затмивший все шедевры искусства прошлых времен, и стиль этот рожден не художниками, а инженерами:

«Пусть 13-й век гордится Шартрским собором, а 20-й — трансатлантическим парохомом «Аквитания»... который выше Лувра и в 6 раз больше Нотр-Дам, в величине являя безупречную гармонию». Более того: он призывал.. «уничтожить искусство»!

Еще более яростно и непримиримо выступал на стороне ниспровергателей искусства (сейчас это воспринимается лишь как занятный, практически неизвестный факт) совсем молодой... Андрей Платонов.

На страницах издававшейся в Краснодаре газеты «Огни» в 1921 году он возглашал тезис о ненужности искусства куда темпераментнее и неистовее, чем запоздавшие (а вовсе не «опередившие других»!) ниспровергатели 50-х годов: «...гром и ритм пульсирующих раскаленных машин волнует нас больше, чем тысячи гениев звука. Пламя топок и черные тела котловин моторов рождают больше красок, чем мазня на кусках полотна. В мгновенных взрывах динамита, в разряде электричества больше жизни, чувства и вдохновенных неуловимых оттенков и мыслей, чем в древних галереях, где затомились никому не нужные, бессильные краски».

Заняться «техникой вместо лирики» требовал австрийский философ Освальд Шпенглер в начале 20-х годов на страницах нашумевшей тогда книги «Закат Европы», называя там литературу, музыку, живопись — ненужной «дробеденью». Тогда же, в 1922 году, Тверское издательство выпустило книгу Алексея Гана «Конструктивизм», в которой вынесен «смертный приговор» всем создателям этой «дробедени»: «Искусство кончено! Ему нет места в людском трудовом аппарате. Труд, техника, организация. Вот идеология нашего дня!»

А еще лет за десять до этого раздавались и такие

«пассажи»: «...Но искусство, искусство... Брр!.. Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? А что — ее можно кушать? Или она способствует ращению волос?.. Вот — искусство: красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензина и — сто верст в час!!»

Каково?! Вот как надо говорить о ничтожности искусства в сравнении с победоносно развивающейся техникой — детищем науки! Перечитайте знакомую всем трилогию Алексея Толстого. Он ведь отлично знал атмосферу жизни петербургской интеллигенции кануна первой мировой войны! И в начале романа «Сестры» вложил эту филиппику в уста Сапожкова, выступавшего на... диспуте об искусстве!

И тогда же вожак итальянского футуризма Маринетти призывал в «наступающем царстве Божественного Электричества, механизмов, ускоренной жизни — разрушать художественные академии и музеи».

Можно было бы привести еще немало аналогичных примеров из разных времен. Само количество таких фактов переходит в качество, закономерность: как только наука и техника делают большой скачок вперед, обязательно появляются утверждения о гибели художественных ценностей! Заметьте: если Маринетти объявлял искусство ненужным в «царстве Божественного Электричества», то в первой половине прошлого века ощущалось «царствование Божественного Пара», а наши «физики» ополчились на «лириков», ощутив себя подданными «царства Божественного (или... дьявольского?) Атома».

Через некоторое время, когда после очередного научно-технического переворота все достигнутое нами станет устарелым, обязательно появятся новые отрицатели искусства... со старыми мотивировками и, конечно же, с теми же результатами своих безнадежных попыток! Ибо как торжествующий итог и словно бы ответ всем прошлым и будущим «пророкам», как ответ и на собственные заблуждения звучат сегодня знаменитые строки Маяковского:

Нами лирика

в штыки

неоднократно атакована.

Ищем речи

точной

и нагой.

Но поэзия —

пресволочнейшая штукавина:

Существует,
и ни в зуб ногой!

Да, многие это понимают, в том числе и многие из тех, кто азартно провозглашал диаметрально противоположное...

И тем не менее означает ли это, что проблема начисто исчерпала себя?

Разве не тому же самому конфликту посвящена была на страницах журнала «Литературное обозрение» дискуссия под характерным заголовком: «Взорвут ли роботы Парнас?» Ведь сам этот метафорический вопрос выражает суть тех наших споров, ибо означает не что иное, как «погибнет ли искусство под давлением замечательных побед техники?»

А на страницах «Литературной газеты» или «Советской культуры» вам не встречались разнообразные материалы, поднимающие тот же вопрос?

Интересно, что в середине семидесятых годов секретариат Союза писателей РСФСР провел очередное выездное заседание в новосибирском Академгородке — «гипоцентре» той дискуссии. Выбор «места действия» был отнюдь не случайным — его продиктовала сама тема: «НТР. Личность. Литература».

Вся атмосфера этого форума ученых и литераторов была совсем иной, но вопросы иногда звучали те же: «Нужно ли в наше время искусство?», «Не отвлекает ли оно непосредственных участников НТР от их прямых обязанностей?». И хотя подразумевалось, что ответ на первый вопрос будет положительным, а на второй — отрицательным, основной докладчик Даниил Гранин все-таки констатировал, что колоссальные успехи науки порождают у некоторых ее деятелей чувство высокомерия в отношении искусства. Считаю весьма знаменательным, что основные тезисы этого доклада сочла целесообразным перепечатать в виде статьи редакция «Правды», включая приведенное Граниным острое и предельно резкое образное определение Маяковского: «На технику надо надеть эстетический намордник, иначе она перекусает все человечество!» Какая глубокая и актуально звучащая именно сегодня тревожная мысль заключена в этой оригинальной, пружинно сжатой метафоре!..

Нельзя, по-моему, делать вид, что все вчерашние

изничтожители искусства переболели «детской болезнью» и рассуждают теперь только об изменившейся роли искусства.

НТР — реальный факт, ее воздействие на многие стороны жизни очень велико, и почва для панических либо нигилистических в отношении искусства настроений существует.

Съезды писателей, художников, композиторов, деятелей театра, кинематографии становятся у нас событиями общегосударственного масштаба. Систематически проводимые в Москве международные конкурсы — события мировые.

Но не менее очевиден факт, что «крайне агрессивная точка зрения узких специалистов» (по выражению математика Еругина) дает о себе знать и сегодня весьма ощутимо.

Ведь правы же и Д. Гранин, и академик Б. Кедров, поднимая голос против ущемления возможностей для школьника получить сколько-нибудь достаточные основы гуманитарного образования, способствующего духовному росту личности. Не случайно еще за несколько лет до этого директор Института художественного воспитания Академии педагогических наук СССР в своем выступлении на страницах «Советской культуры» утверждал: «...Мы потому иной раз и упускаем из-под своего влияния определенную часть молодежи, что не сумели использовать для ее воспитания средства искусства!» О том же писал С. Залыгин.

Надо думать, что перекося в программах школ — временное недоразумение, которое будет устранено. Иначе — страшно!..

Однажды довелось мне, заменяя заболевшего педагога-литератора, принимать вступительные экзамены в техническом вузе. Одна из тем сочинения: «Революционный романтизм в творчестве раннего Горького». Перед началом, как бывает, — негромкий шепот. Расслышал: «Старуха Изергиль». Попросил прекратить разговоры, сосредоточиться. Замечаю: сидящая за предпоследним столом в центре девушка пребывает в состоянии полнейшей растерянности и младенческого неведения. Невольно отметил это... Ну а вечером я читал ее сочинение. Боже мой! Какие смутные представления о правилах орфографии и пунктуации! Но... что это?! «Горький в своем романе „Старуха из Ыргили“...» Таким ей услышалось (впервые?!), название знаменитого рассказа...

Через неделю был приглашен к проректору.

— Понимаете, ведь по физике и математике у нее пятерки. За что вы ее зарезали-то? Ну подумаешь, не знает она эту вашу «Старуху Изергиль». Прочтет на досуге. Она же может инженером хорошим стать, а вы ее...

Переубедить его я не смог. А вот он меня... каюсь... уговорил «натянуть» ей тройку. И вероятно, из-за этой моей непринципиальности появился, может быть, грамотный инженер, но явно безграмотный человек — безграмотный в области восприятия мира, отношения к нему, к людям, человек, увы, далекий от подлинной культуры. Неужели это безразлично вузовским воспитателям? Будущему руководителю в научном институте, на заводе? Но прежде всего: как могли дать той абитуриентке «аттестат зрелости»? Слово-то какое: «зрелость»! Но... если часов, отведенных на изучение литературы в школе, будет еще меньше? Не грозит ли обществу духовный вакуум?..

Нет, нельзя сказать о проблеме: была, да вся вышла. В этом убеждает меня и моя лекторская практика, частые встречи со школьной, студенческой, научной, рабочей молодежью, с преподавателями, выступления о роли литературы и искусства в эпоху НТР. О сегодняшнем значении гуманитарных дисциплин.

Увы, для некоторых (сколько их?) выпускников средних школ многие великие произведения остались какими-то «Старухами из Ёргиля»! И никакая компьютеризация этого не восполнит!

Нет у нас оснований игнорировать мудрое наблюдение Белинского: то или иное образование дает человеку различные профессии, но «только нравственное воспитание делает человека — человеком»! А нравственное воспитание он связывал с воздействием гуманного прогрессивного искусства, обогащающего духовные ресурсы личности. С изучением истории — тоже.

На тогдашнем, по выражению Пospelова, «тюзовском побоище», во время которого молодые гости из Академгородка нередко обрывали выступления «обреченных гуманитариев» выкриками и протестующими аплодисментами, удалось, конечно, высказать лишь небольшую часть таких соображений. Но подсказку Геннадия Львовича об Уитмене я использовал.

И коли уж зашла речь непосредственно о поэзии, «физики» все-таки услышали хотя и немногие из «каких-то там стишков», авторы которых интуитивно опережали самые дерзкие и парадоксальные гипотезы ученых.

Напомнил я и несколько строк из байроновского «Кайна» в буннинском переводе, где до удивления личностно, с полным «эффектом присутствия» передан процесс удаления от Земли — в глубины Вселенной, далеко за пределы нашей Солнечной системы, может быть — в иные галактики. Говорит Байрон в этой поэме, созданной в 1821 году, и об инопланетном разуме, о более высоком уровне цивилизации, чем земная, и о погибшей планете, столь искаженной, что на ней «едва ль найдется атом, им (тем, кто когда-то жил там.— *Б. Р.*) знакомый»!

А это был прекрасный, о, какой
Прекрасный мир!..

Не напоминает ли это современные «романы-предупреждения» о возможной гибели Земли в результате атомной войны?

Не было, разумеется, возможности обоснованно, с цитатами, говорить о космических мотивах поэзии Баратынского, Тютчева, Фета, Блока, Брюсова, Бальмонта, Хлебникова, Маяковского и многих других, включая Андрея Платонова, чей юношеский сборник стихов «Голубая глубина» весь посвящен освоению космоса и где предсказано даже добывание лунного грунта!

Вряд ли мог предполагать тогда Платонов, что понятие относительности «пространства-времени» позволит ученым выдвинуть гипотезу «конечности Вселенной». Но, дерзко опровергая смысл знаменитой ломоносовской строки «Звездам числа нет, бездне дна», он провозглашал: «Мы знаем — есть у бездны дно!» А в другом стихотворении высказал такое опасение: «Мы уьем машинами Вселенную!»

Что это — экология в космических масштабах?

В стихах, одни из которых созданы в прошлом веке, а другие — в первых двух десятилетиях века, идущего к концу теперь, вы найдете и «наш корабль в просторах пустоты», и «шар блестящий... путем намеченным к иным мирам летящий», и визуальные впечатления, словно полученные сквозь иллюминатор космического корабля, и само ощущение полета, включая исчезновение веса собственного тела, и острую тоску по родной Земле, испытываемую ее посланцем на чужой планете, и мчащиеся с фотонной скоростью к иным мирам «атомопланы» (которых у нас пока нет, есть лишь ледоколы и подлодки), и «станцию планет на освещенном небострое» (как выразительно характеризует это словообразование атмосферу тех лет!),

и даже — искусственное изменение орбиты самой Земли в будущем.

Словом, «какие-то там стишки», написанные давным-давно, преодолевая огромные «перегрузки», естественно вызываемые движением времени, кардинальными переменами, которые оно несет, приобретают сами своеобразное «ускорение» и становятся именно в эпоху нашей НТР особенно интересными и по-новому значительными! Не все. Настоящие. Лучшие. Но это — само собою разумеется.

— Они десант высадили в стане гуманитариев, причем с тотальными намерениями, а ты их «гостями» величашь! — рассмеялся Геннадий Львович, когда мы обсуждали подробности диспута.

(Позже он, трансформировав эту шутку, скажет мне о том, что гуманитарии в свою очередь создали «пятую колонну» в царстве физиков: в Академгородке сперва при Институте экономики был организован отдел гуманитарных исследований, а затем отдел этот стал крупным Институтом истории, филологии и философии. Пospelов, как обычно, острил, но оба мы понимали, что все так и было задумано, все закономерно для дальнейшего развития обширного научного центра.) И как-то ненароком возникла тема, показавшаяся сперва нам обоим неожиданной. Заговорили о том, что теперь, когда «космическая эра» наступает, писать стихи о космосе стало не легче, а труднее. Если современники полетов будут лишь воспевать свершаемое, пусть даже в интонации высочайшей патетики и самого искреннего восторга, — они рискуют, как ни странно... повторить написанное задолго до них! Без проблемной «присадки», как говорят металлурги, стихи о космосе, вполне квалифицированно сделанные, и впрямь могут обернуться «какими-то там стишками». Допустим, сколько отправлено на Марс русских березок — целые рощи! Но, не оторвавшись от приютившей их страницы, они засыхают на бесплодной почве банальности!..

— Понимаешь, стихи о пребывании в невесомости сами-то обязательно должны быть очень весомыми — смыслово и эстетически, — задумчиво говорил Пospelов.

И конечно, он был прав! Испытание выдержали и, я убежден, выдержат стихи, откликающиеся на проблемы, возникшие только теперь или нацеленные на ситуации, которые пока еще не возникли, но должны стать реальностью через многие десятилетия. Проблемы и ситуации

морально-психологические, экологические, размышления о возможных последствиях глобального масштаба, о необыкновенно противоречивых коллизиях, когда величайшее достижение человеческой цивилизации — сверхдальний полет к окраинам галактики или за ее пределы — непременно вызовет личную трагедию, безутешные горестные переживания близких, оставшихся на Земле и обреченных не дождаться возвращения любимого человека, сколько бы ни довелось прожить!..

— Вроде и каламбур — «весомо о невесомости», а ведь так оно и есть, — сказал Пospelов, прощаясь со мной.

Мы уже пошли было в разные стороны, когда он окликнул меня:

— Обожди... Так ты думаешь, что удалось переубедить их?

Я пожал плечами.

— Вряд ли.

— Вот именно. Призадуматься кое о чем важном их вынудили, но... знаешь, я убежден: споры постепенно приутихнут, но проблема психологическая останется... И рецидивы споров новых неизбежны!

Иногда темпераментный Геннадий Львович, делясь мыслями о волнующих его научных проблемах, о геологических гипотезах, прибегал к терминологии отнюдь не научной.

В субботу днем после какого-то совещания или собрания в отделении Союза писателей, где присутствовал и Пospelов (по-моему, это было в начале 60-х годов), в опустевшем зале осталось несколько человек. Среди них Анатолий Васильевич Высоцкий — бывший главный редактор «Сибирских огней» — и Елизавета Константиновна Стюарт.

Пospelов незадолго до того возвратился из очередной экспедиции на Камчатку — к ее вулканам и гейзерам. И возбужденно делился впечатлениями.

Беседовали мы долго. Когда Высоцкий спросил его, что же представляет собой «машинное отделение» Ключевского вулкана, он вдруг помрачнел и, досадливо рубанув воздух рукой, воскликнул:

— Однозначно-то ни черта мы пока не знаем о самом механизме, о сложнейших внутренних особенностях сверхглубинной энергетики! Прав же Михаил Алексеевич... это он и у вас на всесибирском совещании детских писателей

высказывал... Ученые, мол, выдвигают разительно противоречивые, взаимоисключающие предположения о том, где, на какой глубине, собственно, зарождается вулканическая деятельность. Одни утверждают, что страшная эта каша заваривается километрах в десяти, максимум — пятнадцати под нашими пятками. А другие увеличивают эти цифры раз в двадцать, а то и в тридцать, превращают в... триста километров!! Даже больше.

Он прервал себя, взялся за очки, потом выбросил резко руку вперед и более низким голосом, чем обычно, словно бы сгустив тембр, продекламировал:

— «Помните! Погибла Помпея, когда раздранили Везувий!» Маяковский использовал здесь великое бедствие далекого прошлого как гиперболическую метафору. Огромная любовь, вызвавшая великие муки ревности. И угроза, от которой — мороз по коже... Можно ведь так это трактовать, товарищи писатели?.. Но нас до сих пор интересует, почему именно в какой-то определенный момент начал тогда бесноваться Везувий. О современных извержениях тем более это необходимо знать безошибочно. Пока у нас — руки коротки!..

— Знаете, а мне, далекой от науки, — сказала Елизавета Константиновна Стюарт, — все равно кажется странным, что и теперь, когда началось освоение космоса, для чего «руки» требуются несравненно более длинные, о проникновении в землю говорят: у нас для этого «руки коротки».

— Вот-вот! Знаю, братцы, вас всех ошарашило утверждение Михаила Алексеевича Лаврентьева о том, что преодолеть сотни миллионов километров, достичь Марса или Венеры, получить о них захватывающе интересные сведения, причем точные, даже копнуть тамошний грунт и исследовать его, — нам пока значительно проще, чем пробурить родную планету на каких-нибудь полтора десятка километров! А тем более — на двадцать — тридцать. Всем без исключения неспециалистам это кажется буквально невероятным. Прямо-таки — не укладываемым в сознании.

Он рассказал, а вернее — напомнил нам (в газетах об этом тогда сообщалось), что на Кольском полуострове начали пробуривать одну из самых глубоких скважин. Это сулит немало нового ученым, но дело пойдет медленно. «Задача многолетнего решения!» — так он сказал. И добавил, что наверняка встретятся непредусмотренные сложности и с каждым километром будут давать о себе знать новые осложнения.

И, как обычно увлекшись, он заговорил о чудовищной мощи подземных давлений, о гигантской силе, передвигающей огромные пласты коры, вызывающей трещины и горообразование, катастрофические землетрясения и извержения вулканов, насылающей на сушу великанские волны — цунами и проглатывающей острова, а возможно, когда-то проглотившей и материки, разломившей континенты!

— И хотя мы, разумеется, кое-что можем научно прогнозировать, предупреждать население о некоторых стихийных бедствиях — существует, например так называемая «служба цунами», — мало этого. Мало! Захватывающая дух задача науки неблизкого будущего — это... — Поспелов энергично ткнул пальцем вниз, словно мысленно «пронзал» глубины, и нетрудно было догадаться, что именно он имел в виду: и раньше он писал об этом в статьях, высказывался в докладах: — Геоэнергия.

И, все более оживляясь, Геннадий Львович заговорил о том, что хотя сейчас это звучит фантастично, но когда-нибудь человечество сумеет овладеть невообразимо могучей и пока еще лишь устрашающей внутриземной энергией. Подчинить ее прогрессу цивилизации. Зло обратить в благо.

— Понимаете, братцы, необходимо научиться укрощать это страшилище. Даже, если хотите, «дрессировать» его!

— Не хотим, — отозвалась Елизавета Константиновна Стюарт. — Одного джинна уже выпустили. И что-то он не очень поддается дрессировке. А вы еще более страшного мечтаете выпустить? Спасибо!..

— В общем верно. И все же, милая Елизавета Константиновна, если мы полистаем «Тысячу и одну ночь», обратимся к фольклорному первоисточнику образа вышеупомянутого джинна, то сразу и обнаружим, что почему-то не учитываем одну важную штуку: ведь управляемая «джиннореакция», послушная Аладдину, приносила блистательные плоды: дворец-то какой за одну ночь джинн отгрохал! Вспомните-ка совершенно прелестный образцовый спектакль... И при этом в первоисточнике... — Поспелов улыбнулся, — в первоисточнике даже намек нет на то, что заказчик-султан предъявил претензию по поводу хоть одной недоделки!! Каково? Нашим бы стройтрестам и всяким СМУ — так!.. А то главному «заказчику» Академгородка Михаилу Алексеевичу все-таки не раз приходилось самому вмешиваться, прежде чем все наладилось.

...Через несколько лет Елизавета Стюарт создаст довольно необычное для ее стиливой и интонационной манеры, безрифменное, странноватое по главному «ходу» стихотворение о весне. В нем использован фольклорный образ доброго и деятельного «лесовичка», олицетворяющего мирную, ликующую, занятую своим великим творческим трудом природу.

Долго звучат нежные, ласковые, полные радости и восхищения мажорные аккорды.

И вдруг — сюжетный удар:

...А где-то в мире зрело злодеянье —
Копилась ярость ядерного взрыва...
И там не на нее ли отвечала
Жестоким содроганием земля?
Кричали недра и сдвигались горы,
Цунами клокотали в океане.
И ливни слизывали с побережий
Цветы и судьбы, камни и дома!..

Но преждевременно торжество сил зла:

...Готовый к созиданью и свершеньям,
Плыл над землей новорожденный день...

Не могу утверждать, что здесь осознанно, хотя и очень деформированно, откликнулся тот спор с Пospelовым, с его темпераментными монологами о бушующих недрах и пользе их обуздания, — при первом чтении этой ассоциации не возникло. А вот сейчас думаю: не исключено такое. Отнюдь не исключено.

Издавна совсем «своим» среди писателей был этот ученый. Он стал им еще до того, как я оказался в Новосибирске...

А однажды, когда отмечалась некая дата у автора этих строк, Геннадий Львович вышел на сцену Дома актера, где проводилось сие мероприятие, и все сразу обратили внимание на то, что левая часть пиджака на его груди почему-то сильно оттопырена, а пола неестественно оттянута вниз.

После очень забавных стихов, сочиненных им для данного случая, он торжественно произнес:

— А презренной прозой говоря, хочу, чтобы ты, Борис, не думал, будто я против тебя держу камень за пазухой. Смотри-ка, всенародно достаю его оттуда!

И действительно извлек из внутреннего кармана большой, оригинальной формы кусок горного хрусталя.

— Вот он! — Пospelов поднял руку, повернул несколько раз поблескивающими гранями «камень», демонстрируя его собравшимся, и протянул мне: — Держи... Только ведь ты поди не догадываешься, что водрузишь на письменный стол? Пусть это будет для тебя тем «магическим кристаллом», сквозь который, как признавался Пушкин, автор сначала неясно различает, что к чему в романе дальше-то?.. А тебе, брат, по штату положено различать все насквозь в чужих романах. Даже когда самому-то писателю кажется, что всё — в ажуре. На то ты и редактор. Вот и вглядывайся в эту штуковину, внимательно вглядывайся, когда новая рукопись на столе. Вместо того чтобы скучать, читая ее. Я бы на твоём месте не жалел глаз!

И только после такого «заявления» обнял меня. Конечно, это вызвало смех и аплодисменты. Он и на этот раз сумел все подать в своём стиле, наш милый, изобретательный на шутки Геннадий.

Не стал я его разочаровывать... В августе 1953 года ранним-ранним утром, едва солнце взошло, мы с Казимиром Лисовским нашли на давно заброшенных разработках в невысокой седловине несколько обломков горного хрусталя. Правда, значительно меньшего размера, чем поспеловский... Было это во время недельной автомобильной поездки по Чуйскому тракту в сторону Монгольской Народной Республики, и мы тогда совсем немного не доехали до пограничного Кош-Агача... После совещания литераторов в Барнауле, куда были приглашены из Новосибирска Афанасий Лазаревич Коптелов, Александр Иванович Смердов, Анатолий Васильевич Никульков, Лисовский и я, — мы отправились через Бийск в Горно-Алтайск, а оттуда...

Мне и до сих пор кажется, что мы тогда двигались где-то «внутри» пространства прекрасной сказки, — настолько неправдоподобно и странно красивым было все вокруг! Белая, то слегка зигзагообразная, то совершающая крутые, почти под прямым углом, виражи, дорога — на фоне радужно разноцветных гор различной конфигурации. Одна — меловая, ее совершенно отвесный обрыв называется Белый Бом, другая — темная. Вон та — светло-сиреневая, но прямо на глазах вдруг резко темнеющая под облаком, а эти три показывают различные оттенки зеленого: на

склонах их — массивы пихт, елей, кедрача. Правее ярко сверкают ледяные короны Белухи. А когда все это иной раз чередуется с тигриными прыжками Катуня, которая ниже, сливаясь с Бией, превращается в Обь (так вот откуда начинается великая река путь к Новосибирску и дальше — в сторону Ледовитого океана!), остро ощущаешь то, что Флобер называл «бессилием выразить».

Уроженец этих мест Афанасий Лазаревич Коптелов, снисходительно и довольно улыбаясь, через каждые полчасика повторяет:

— Поберегите же эмоции, Борис Константинович, иначе вас не хватит. Дальше будет еще красивее!

И оказывался прав. После Семинского перевала, заросшего громадными кедрами, откуда распахивался завораживающий вид на впадины и новые горы, следующий перевал, Чике-Таман представал действительно еще более грандиозным и впечатляющим, а светлая лента тракта, замысловато петляющая по склону и по долине перед очередными подъемами, разрезала окружающее разноцветье в форме восьмерки. И по этой «восьмерке» далеко-далеко внизу медленно двигался большой табун лошадей, ведомый погонщиками из Монголии... Через несколько месяцев «Огонек» напечатал фотоочерк К. Лисовского. Смотрю на уже постаревшие, почти тридцатипятилетней давности страницы, смотрю на снимки в домашнем альбоме и невольно думаю: а ведь как ни величествен Горный Алтай, он, странно сказать, лишь малая частица могучей и пленительной, а в других местах — жутковатой, дикой, какой-то «инопланетной» природы Сибири, ее пейзажей, среди которых, конечно, есть и «обычные»... Вот ту, «инопланетную», мне своими глазами не удалось увидеть, но я четко увидел ее глазами геодезиста Григория Федосеева, о котором расскажу в следующей главе.

А когда приспела «круглая дата» Геннадия Львовича, я, в свою очередь, посвятил ему «одический спич», который случайно сохранился у меня, и я позволю себе познакомить с ним читателя, поскольку сей примитивно зарифмованный шуточный «концентрат фактов» деятельности Поспелова дает конкретное представление о его прямо-таки невероятной активности и мобильности:

«Самой природой зарифмован ты, Геннадий, с таким бесценным кладом, как ванадий. Но все-таки хоть шепотом скажи нам, как подружиться ты сумел с подземным

джинном? Ответь нам, как сумел (об этом просим хором) сравняться в скорости с межзвездным метеором? Сегодня пред тобой — проспект Морской, а завтра ты — на сопке Ключевской! То на трибуне ты, блистательный оратор, то в огнедышащий влезаеть кратер. То в Дом ученых ты спешишь с докладом, то — в чум кочевника, присесть с нанайкой рядом. Симпозиумы, форумы, советы — и вдруг шагаешь бодро по Туве ты. В обских низовьях, весь обледенев, ты вчера твердил: «Здесь много газа, нефти!» Сегодня ж (рядом ванны нет — неважно) — в кипящий гейзер прыгаешь отважно! И в области иной твой горизонт не узок: несешь ты сто общественных нагрузок! Все думают, что в организме Гены заложены особенные гены».

Заключительный каламбур (впрочем, явно напрашивающийся, и не удивлюсь, если кем-то уже использованный) потянул за собой второй, как мне тогда казалось, забавный своей неожиданной «свирепостью»: «Того, кто Гене нанесет обиду, подвергнуть следует за Гену геноциду!»

Но «обиду» — страшную, трагическую, в полном смысле смертельную — нанесла ему вскоре проклятая болезнь, против которой все еще не найден надежный «вирусоцид».

Ощущая в себе ее неумолимые когти, продолжал он свой «безантрактный» образ жизни.

К тому же, вероятно уже ослабленный, он сломал ногу. Возле вулкана...

Вот таким был один из «людей Академгородка».

Не самый яркий из них. Но мне наиболее близко знакомый.

Он отнюдь не представлял собой исключения. Темп и самый «градус» его жизнедеятельности характерны для всей интеллектуальной и эмоциональной «температуры», для обычной трудовой атмосферы Сибирского отделения Академии наук.